максимум двумя функциональными стилями» [Сиротинина 2003:5]. В любом случае велика роль и влияние языка современных чиновников на общество, которому они служат, а это накладывает большую ответственность за сказанные слова, даже в языковом аспекте. Внимание к речи работников всех видов власти приведет к росту авторитета власти в глазах населения, повысит степень доверия к ней, поможет пониманию ее действий, воспитанию законопослушности.

В заключение хотелось бы процитировать Н.Галь, которая призывает всех нас бережно относится к этому великому дару – русскому языку: «Люди добрые! Давайте будем аккуратны, бережны и осмотрительны! Поостережемся «вводить в язык» такое, что его портит и за что потом приходится краснеть! Мы получили бесценное наследство, то, что создал народ за века, что создавали, шлифовали и оттачивали для нас Пушкин и Тургенев и еще многие лучшие таланты нашей земли. За этот бесценный дар все мы в ответе. И не стыдно ли, когда есть у нас такой чудесный, такой богатый, выразительный, многоцветный язык, говорить и писать на канцелярите» [Галь 2001].

Библиографический список

1. Гловинская М.Я. Активные процессы в грамматике // Русский язык конца XX столетия (1985-1995). М., 2000.

2. Сиротинина О.Б. Характеристика типов речевой культуры в сфере действия литературного языка // Проблемы речевой коммуникации. Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. Саратов, 2003.

3. Ширяев Е. Н. Современная теоретическая концепция культуры речи // Культура русской речи: Учебник для вузов. – М., 2000.

4. Галь Н. Слово живое и мертвое: от “Маленького принца” до “Корабля дураков” – 5-е изд., доп. – М.: Междунар.отношения, 2001 – 368 с

И.А. Щирова

Санкт-Петербург, Россия

О МЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ И ФИКЦИОНАЛЬНЫХ СУЩНОСТЯХ

«Отсутствие стандартной интерпретации или общепринятой редукции к правилам», - справедливо замечает Томас Кун, - «не будет препятствовать парадигме направлять исследование. Нормальная наука может быть

детерминирована хотя бы частично непосредственным изучением парадигм» [Кун 2003: 74]. Современная когнитивная парадигма научного знания, вне зависимости от того, к какому интерпретативному сообществу относит себя учёный, отражая вступление человека в эпоху «ноосферы», подчёркивает значимость человеческого фактора. Это распределение концептуальных акцентов можно обнаружить в разных литературно-критических школах, предлагающих свои решения сложных проблем текста и интерпретации. Сошлёмся на герменевтику, продемонстрировавшую переход от традиционного поиска аутентичного имманентного смысла текста и, как следствие, репродуктивной интерпретации к интерпретации продуктивной, обоснование которой составили введённые Гадамером понятия «предание», «традиция», «историческая природа понимания», «историческая дистанция». Все они подразумевали невозможность понимания произведения искусства как единичного продукта творчества и необходимость реконструкции его места в духовной истории человечества при обязательном учёте мнений интерпретатора. Сошлёмся на рецептивную эстетику, выросшую из поздней герменевтики и предлагающую веер научных концепций, радикально ориентирующих исследователя на реципиента, будь то идея Р. Ингардена о неизбежности дополнения и возможности искажения «костяка» произведения читателем или идея В. Изера о «полном потенциале текста», который ни один читатель не в состоянии исчерпать. Даже новая критика с её мощным структурным началом, изначально настаивавшая на абсолютной значимости текста, а не субъекта, воспринимающего этот текст и склонного к ненужному «психологизму», отреагировала на новую понятийную сетку, набрасываемую исследователем на познаваемый мир, появлением психоаналитических, историцистских и философско-антропологических модификаций. В первую очередь, это объяснялось обретением наукой нового – «человеческого измерения» (Келле). Усиление позиций субъекта противоречило самой идее самодостаточности текста, игнорировавшей как необходимость реконструкция авторского смысла, так и роль реципиента, без которой эта реконструкция не является возможной. «Антропоцентрический поворот» произошёл и в классических дисциплинах, относящихся к так называемым «наукам о тексте», будь то поэтика, стилистика и риторика, с их древними истоками, или сравнительно недавно появившаяся и по-прежнему вынужденно отстаивающая свой статус лингвистика текста. Значимость человеческого фактора эксплицитна в новых направления этих дисциплинах,

попадающих под «зонтик» когнитивистики: когнитивной поэтике и когнитивной стилистике.

Упомянутые выше школы и дисциплины – лишь некоторые из множества таковых. Взгляды на текст, постулируемые представителями любых областей научного знания, сегодня, как и ранее, в силу сложности природы текста как объекта изучения могут быть подвергнуты сомнению и найдут своих оппонентов (речь не идёт об аксиоматике, составляющей необходимый минимум исходных знаний). Однако, по сути, это означает реализацию базовых принципов когнитивистики, которая видит в человеке «точку отсчёта» научного анализа и неизбежно релятивизирует истину. К многомерному и сложному тексту неприменимы жесткие параметры, а между любыми из этих параметров - невозможны жесткие границы. И, тем не менее, стремление к систематизации суть неотъемлемая часть работы человеческого сознания, поэтому попытки так или иначе схематизировать и даже алгоритмизировать описание текста не теряют своей актуальности.

В контексте установок современной науки текст может рассматриваться как объективация авторского взгляда на мир. Способы трансляции этого взгляда зависят от целого ряда факторов, начиная с историко-культурного контекста эпохи, задающего стилевые установки для любых явлений культуры, в том числе и для художественного текста, и продолжая многими иными. Достаточно назвать жанр текста (в собственно лингвистической терминологии – тип (текстотип)), избираемую автором повествовательную перспективу или конкретные текстуальные коммуникативно-творческие стратегии и тактики, способные обеспечить её формирование через распределение прагматических фокусов текста - конденсатов его концептуально-тематической сути. Специфика реализации универсальных принципов текстопорождения - селекции и комбинации на всех уровнях и этапах создания текста, начиная с авторского замысла как неоформленного психического образования и заканчивая авторской завершённостью текста, диктуется уникальностью лингвокреативной личности, а потому актуальная для ученого задача - найти в тексте «островки организованности» - не находит лёгких решений.

С учётом роли, которая отводится сегодня человеку в языке, и человекомерности самой науки, едва ли было бы правомерным стремиться обнаружить некую универсальную модель построения текста. Парадигмы его изучения множественны, а встраивающиеся в них понятия, казалось бы, давно вошедшие в исследовательский аппарат, трактуются неоднозначно.

Так, например, трудно назвать чётко очерченными понятия семантики, прагматики и интенциональной семантики текста (ср. [Левин 1998: 264]), о чём говорит отсутствие единообразия в их дефинициях. Извечно дискуссионный характер носит толкование ключевых для изучения текста понятий - «смысл» и «значение», равно как и их соотношения. В ходе эволюции гуманитарной мысли литературоведческие и философские концепции отстаивали либо, напротив, отрицали существование объективного значения текста, сводя это существование к существованию в сознании читателя. Между обозначенными позициями лежит широкий спектр мнений, в том числе и достаточно сдержанное: читатель - субъект интерпретации текста, он распредмечивает содержание текста в личностно освоенный смысл и обладает некой свободой, однако, извлекаемый им смысл не является произвольным. Читатель может понимать текст не так как автор или даже лучше, чем автор, но он - не творец, а «сотворец-рецептор», «соучастник» (Д.С. Лихачёв) творческого процесса. Традиционные разночтения сохраняются в описании и типологиях множественных повествовательных инстанций текста, а также тех гипотетических конструктов, которые используются для обозначения абстрактной ситуации в литературной коммуникации - автора и читателя, не говоря уже о превратившемся в «яблоко раздора» понятии авторской интенции. Её релевантность для интерпретации текста, характерная для отечественной филологической традиции (ср. «образ автора», по В.В. Виноградову), признаётся сегодня далеко не всеми (см. подробнее [Щирова, Гончарова 2007: 376-381]). Так, по мнению Ричарда Рорти, попытки подобрать ключ к правильному пониманию текста и отыскать заключённый в нём смысл являются своего рода оккультизмом, имитацией науки и признаком слабости читателя. Сильный читатель, по Рорти, должен вкладывать своё видение в текст, *независимо от того, насколько оно совпадает с авторским*. Интерпретатор – прагматик, и прочтение текста определяется целью, которую он перед собой ставит [Rorty 1996: 92, 93, 103] (курсив мой – И.Щ.).

Априорную сложность любых попыток алгоритмизации описания текстовых явлений (это не говорит об обречённости таких попыток на неудачу) определяет «расщеплённая», как называл её Р. Якобсон, референция художественного текста. В тексте моделируются многообразные фантазийные миры, разной степени удалённости от реальности и зачастую не похожие на неё, хотя именно в ней глубоко коренящиеся. Фантазия

художника слова порождает вымышленные сущности, - без воображения невозможна сама фикциональность.

Рассматривая проблему соотношения воображения и фикциональности, привлекавшую внимание философов, логиков, психологов, литературоведов и лингвистов, К. Уолтон подчёркивает значимость намерения автора фикционального (художественного) текста заключить своего рода договор с читателем или, как он пишет, оговорить правила игры в правдоподобие (games of make-belief) (ср. «т.н. «притворную референцию, по Льюису). Основой таких правил выступает сам текст. Как кукла, прибегает к сравнению Уолтон, является необходимой опорой для того, чтобы ребёнок поверил, - он играет не с игрушкой, а с живой белокурой малышкой, так и текст репрезентирует реальность, в которую читатель *верит*, поскольку он заключил с автором соглашение об условиях игры в текст. Словесная ткань литературного произведения репрезентирует вымышленную сущность как правду (ср. "It is because of the words constituting *Gulliver's Travels* that there is a society of six-inch-tall people who go to war over how eggs are to be broken" [Walton 2004: 137]). В отличие от целенаправленного вымысла, воображение, продолжает Уолтон, воспринимается как свободная, не поддающаяся регуляции деятельность, испытывающая на себе очевидное влияние подсознательных процессов. Кажется, что оно свободно бродит по нашим концептуальным мирам и этим отличается от веры, - ведь мы не можем заставить себя поверить в то, что хотим, вера не зависит от воли, а воображать можем, что угодно. Впрочем, эта «свобода» воображения кажется Уолтону иллюзией, поскольку воображаемые сущности зависят от контекста: игра воображения может быть в нём уместной или неуместной. Контекстуализация воображения, т.о., рассматривается как своего рода ключ к понятию «правда вымысла». Пропозиции, основанные на вымысле, *ориентированы на то, чтобы читатель представил их в своем воображении*, не зависимо от того, сумеет он сделать это или нет. Они носят характер прескрипций, правил, а их несоблюдение равносильно отказу от игры в текст [Walton 2004: 137-138] (курсив мой – И.Щ.).

Концептуальный художественный материал организуется по индивидуально-авторским моделям через неоднозначно трактуемые вымышленные сущности и связывающие их отношения. Так как эти сущности соответствуют интенсионалам языка и не предполагают обязательной завершенности в виде экстенсионалов; на первый план текста выдвигается его интенсионал (смысл), экстенсионал же, если и играет в нём,

то очень незначительную роль [Степанов 1998, 452-453]. Акцент на интенсиональной природе текста усиливается, если предметом его изображения являются не перипетии сюжета, а субъективные акты восприятия и мышления, процессы сознания и подсознания, идеальные по своей природе, как это имеет место в психологической прозе или текстах, образующих гетерогенное мнемоническое повествование: дневниках, мемуарах, эссе и пр. «Субъективная реальность» сознания принадлежит области непредметной референции, поэтому роль интенсионала в такой литературе возрастает максимально, что и позволяет назвать её интенсиональной. В отличие от экстенсиональной литературы, интенсиональная литература не сосредотачивает внимание читателя на превратностях судьбы персонажа, а, по словам И.П. Смирнова, прослеживает его внутреннее состояние в момент кризиса автоидентичности [Смирнов 1996 , 92-93].

То, что текст, в котором моделируются познавательные процессы человека, делимые на конкретные процессы, связанные с реализацией различных когнитивных способностей, представляет для исследователя особую сложность, объясняется, в первую очередь, сложностью самого моделируемого объекта. Так, под когницией понимается «проявление умственных, интеллектуальных способностей человека». Когниция включает «осознание самого себя, оценку самого себя и окружающего мира, построение особой картины мира – всего того, что составляет основу для *рационального* и *осмысленного* поведения человека» [Кубрякова 1996: 81] (курсив мой – И.Щ.). Однако вопрос о соотношении когниции и эмоции как явлением сознания, несмотря на многократные попытки разграничить ratio и emotio как призмы человеческого мировосприятия, не находит однозначного ответа (ср. [там же: 82]). Сложность описания реального сознания очевидна и для тех, кто непосредственно занимается проблемами мозга. Так, Т. В. Черниговская, работающая на пересечении лингвистики, психологии и физиологии нервной системы, в одном из своих интервью заявляет: «В мозгу - триллионы связей, которыми никто не управляет, - это «запредельно сложная» система, самая сложная из известных нам, «пропасть, в которую мы добровольно бросились… Я не надеюсь, что однажды во вторник проснусь, и мне откроется истина, как устроены мозг или язык. Если такое произойдет, то у меня есть знакомые психиатры - я тут же им сдамся» (цит. по [Константинов, 2007]).

Для описания сложных текстов интенсиональной литературы представляется приемлемой не двузначная логика, ориентирующая исследователя на абсолютную истину и «здравый смысл», а потому удаляющая проблему фикциональности из сферы своего рассмотрения или рассматривающая референцию художественного текста как ложную, а иные, неклассические логики, многозначные, интенсиональные и модальные. Они трактуют истинность подвижно, по отношению лишь к одному из *возможных миров*.

«Философия», - замечает М. Эпштейн, - «есть размышление о мирах, т. е. о предельных, наибольших единицах мыслимого, которые относятся к действительному миру как иная модальность мышления. Предмет философии - мироздание, т. е. совокупность возможных миров, не ограниченных предикатом существования» [Эпштейн 2001]. Неклассическая философия, связанная с именами Я. Хинтикки, С. Крипке, Р. Монтегю и др. продемонстрировала гибкие подходы к проблеме референции художественного текста и связанным с нею проблемам истинности и возможности. Продуктивную концептуальную базу для выявления репрезентации вымышленных сущностей в языковом сознании, описания природы фикциональности и проведения различий между фикциональными и нефикциональными текстами сформировала философская концепция возможных миров, центральное понятие которой уходит корнями в античность. Я. Хинтикка увидел в возможном мире возможное направление развития событий и ввёл понятие невозможных возможных миров как миров логически не возможных, но являющихся возможными эпистемическими альтернативами, то есть выглядящих возможными. «Обдумывая то, что мы воспринимаем или не воспринимаем в данной ситуации, – пишет Хинтикка, – мы классифицируем положения дел на совместимые и несовместимые с содержанием нашего восприятия. Всякий, кто готовился к более чем одному направлению развития событий, тем самым имел дело с несколькими направлениями их развития, или, иначе говоря, возможными мирами. Одно из таких направлений становится реальностью, все остальные остаются возможными направлениями развития событий» [Хинтикка, 1980: 74].

Концепция возможных миров открыла новые перспективы в осмыслении онтологического статуса фикционального мира и фикциональных объектов, но разброс мнений в отношении природы самих возможных миров достаточно широк. Основные дискуссии при их рассмотрении сводятся к уточнению степени реальности, которую можно

приписать возможному миру (если можно вообще). Анализируя их содержание в американской философии, Р. Ронен различает три основные позиции: крайний реализм (radical realism), умеренный реализм (moderate-realism) и антиреализм (anti-realist view) (номинализм – И.Щ.). Согласно первой точке зрения (Д. Льюис), фактически стирающей границу между возможным и действительным, любые возможности, которые мы можем себе представить, актуализируются в том же логическом пространстве, что и действительный мир, а потому фактически обладают физическим существованием. Термин актуальный, по Льюису, не должен использоваться по отношению к миру, где мы обитаем, поскольку он не является специфической характеристикой реальности, а носит индексальный (указательный) характер: каждый, кто живет в каком либо из миров, считает свой мир актуальным. Возможные миры, - это параллельные миры, автономные «иностранные государства», со своими законами и своей действительностью. Способ их существования не отличается от способа существования актуального мира (цит. по [Ronen 1994: 22]). В рамках умеренного реализма понятие «возможный мир» трактуется неоднозначно. Некоторые исследователи (А. Плангтинга, Н. Решер, Р.Столнейкер) считают его компонентом действительного мира, который, в свою очередь, рассматривается как сложная структура, сочетающая в себе элементы действительности и неактуализировавшиеся возможности. Эти возможности именуются по-разному (ср. mental constructs у Н. Решера и non-obtaining states у А. Плантинги), но всегда осмысляются с позиции рационального сознания. Оно же признаёт актуальным лишь один мир. В иной вариации умеренного реализма (С. Крипке) возможные миры, которым приписывается объяснительная сила, разграничиваются с реальным миром и рассматриваются как абстрактные сущности, гипотетические ситуации, нереальные параллельные миры. Модальность действительного мира противопоставляется модальности гипотетических возможных конструктов, которые формируют неактуализировавшуюся часть мира. Наконец, антиреализм (Н. Гудмен) отказывает возможным мирам в эвристической и объяснительной силе, а самому понятию - в праве быть использованным в дискуссиях о бытии, т.к. оно не обозначает действительного. Этот взгляд восходит к известному тезису о сущем мире как единственно возможном [Ronen 1994: 21-24].

Несмотря на то, что понятие возможного мира оценивается неоднозначно даже в рамках философии, где и возникло, оно успешно

экстраполируется на художественный текст, что убедительно подтверждают оригинальные концепции Эко, Вайны, М.-Л. Рьян и пр. [см. подробнее Щирова 2003: 90-91].

Автор этой статьи в монографии 2003 г. предложил свой вариант проекции концепции возможных миров на фикциональный мир текста психологической прозы. Совокупность возможных миров, являющихся элементами в целостном фикциональном мире психологических текстов, выделялась с учётом: 1) их предмета изображения – внутреннего мира персонажа и 2) их основных разновидностей (интериоризированные тексты vs. экстериоризированные тексты). Если в интериоризированных текстах «события в сфере сознания» изображаются эксплицитно - в плане художественно-трансформированной внутренней речи, т.е. доминирует субъективизированное повествование, то в экстериоризированных текстах - через детали, «овнешняющие» ментальные процессы детали. Функции «овнешняющих» деталей могут выполнять портретные, речевые, акциональные и пр. характеристики, непосредственно формирующие образ персонажа, либо детали, опосредованно с ним связанные, например, пейзажные или интерьерные. С учётом текстотипологической специфики психологических текстов, в них были выделены «мир реальных событий (действий)», который образуется поступками персонажа и принадлежит внешнесобытийному ряду произведения («действительный реальный мир»), и «мир событий сознания» («мысленный реальный мир»). Составляющие этого мира - изображённые чувства и мысли принадлежат иному, внутриличностному ряду произведения. Возможные миры в сфере изображенного сознания также были детализированы. Так, «мир сознания» был противопоставлен «миру подсознания», в котором реальная необработанная речемысль с характерной для неё образностью, свёрнутой предикативностью или, как пишет Л.С. Выготский, «максимальной синтаксической упрощённостью» и «абсолютным сгущением мысли» [Выготский 1996: 344], имитируется разветвлённой системой перцептуальных образов и тропов, односоставными и эллиптическими предложениями, парцеллятами и пр. Можно добавить, что в подобном субъективизированном повествовании не менее оправданным представляется выделение и иных возможных (ещё не актуализированных) миров. В качестве таковых могут трактоваться желания, предположения, мечтания, грёзы или сны персонажа. В упомянутой выше монографии понятие возможного мира использовалось и по отношению к экстериоризированным

психологическим текстам, при этом закономерно акцентировались языковые средства изображения переключения объективизированного повествования в «иной, возможный мир» (см. подробнее [Щирова 2003: 94 - 105]). Останавливаться на этом вопросе, однако, не позволяет ограниченный объём статьи

Итак, субъектность современных стилей научного мышления открывает перед исследователем текста широкие перспективы в плане выбора аналитического и методологического инструментария для рассмотрения сложной системы – художественного текста. Его можно описывать и как возможный мир: мир «внутри текста» в этом случае воспринимается как условно автономный, а истина по отношению к составляющим его вымышленным компонентам – субъектам, свойствам и действиям - как релевантная для этого мира. Но это лишь один из доступных исследователю подходов к изучению природы фикциональности и описанию текстовых свойств. Как и выбор любого иного подхода, он отражает научные преференции исследователя, свидетельствуя, вместе с тем, о сохраняющемся интересе науки к тексту, который, сообразно новым стратегиям научного развития, рассматривается сегодня сквозь призму ментальности.

Библиографический список

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1996.

2. Константинов А., 2007. «Мы подвешены на языке» [Электронный ресурс] // http://www.expert.ru/printissues/russian_reporter/2007/24/interview_chernigovskaya/

2. Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филологический факультет МГУ, 1996.

3. Кун Т. Структура научных революций. М.: Изд-во АСТ, 2003.

4. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998.

5. Смирнов И. Бытие и творчество \\ Приложение к альманаху «Канун» под общ. ред. Д. С. Лихачева. Вып. 1. СПб.: Изд-во «Канун», 1996.

6. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. – М: Языки русской культуры, 1998.

7. Хинтикка Я. Виды модальности // Хинтикка Я. Семантика модальных и интенсиональных логик. М.: Прогресс, 1981. – С. 60-85.

8. Щирова И.А. Психологический текст: деталь и образ. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2003.

9. Щирова И.А., Гончарова Е.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация. СПб.: Книжный дом, 2007.
10. М. Эпштейн. Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре
С-Петербург: Алетейя, 2001. [Электронный ресурс] // http://society.polbu.ru/epstein_possiblephilo/ch14_ii.html
11. Ronen, Ruth. Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
12. Rorty R. The Pragmatist's Theory //Interpretation and Overinterpretation. Umberto Eco with Richard Rorty, Jonathan Culler and Christine Brooke-Rose. Cambridge: Cambridge University Press, 1996
13. Walton K. Fiction and Nonfiction // Philosophy of Literature. Contemporary and Classic Readings. An Anthology. Oxford: Blackwell. 2004